

О людях, ставших с ночи на утро властью в России, я имел весьма слабое понятие. В частности, я не знал, что такое Ленин. Мне вообще казалось, что исторические «фигуры» складываются либо тогда, когда их везут на эшафот, либо тогда, когда они посылают на эшафот других людей. В то время расстрелы производились в частном порядке, так что гений Ленина был мне, абсолютно невежественному политику, мало еще заметен. Уже о Троцком я знал больше. Он ходил по театрам и то с галерки, то из ложи грозил кулаками и говорил публике презрительным тоном: «На улицах льются народная кровь, а вы, бесчестные буржуи, ведете себя так низко, что слушаете ничтожные пошлости, которые вам выплывают бездарные актерши...» Насчет Ленина же я был совершенно невежественным и потому встречать его на Финляндский вокзал я не поехал, хотя его встречал Горький, который в это время относился к большевикам, как к враждебным.

Первым Божиим наказанием мне — вероятно, именно за этот поступок — была реквизиция такси-то молодыми людьми моего автомобиля. Зачем, в самом деле, нужна российскому гражданину машина, если он не воспользовался ею для верноподданного акта встречи вождя мирового пролетариата?

Я рассудил, что мой автомобиль нужен «народу», и весьма легко ушелся. В эти первые дни господства новых людей столица еще не отдавала себе ясного отчета в том, чем на практике будет для России большевицкий режим. И вот первое страшное потрясение. В госпитале зверским образом матросами убиты «враги народа» — большие Кокосикин и Шингарев, арестованные министры Временного правительства, лучшие представители либеральной интеллигенции.

(Шингарев А. И., врач, Кокосикин Ф. Ф. — приват-доцент, члены ЦК партии кадетов. — Прим. ред.)

Я помню, как после этого убийства потрясенный Горький предложил мне пойти с ним в министерство юстиции хлопотать об освобождении других арестованных членов Временного правительства. Мы пришли в какой-то второй этаж большого дома где-то на Конюшенной, кажется, около Невы. Здесь нас принял министр юстиции Штейнберг. В начавшейся беседе я занимал скромную позицию манекена — говорил один Горький, Евзовичевский, бледный он говорил, что такое отношение к людям омерзительно. «Я настаиваю на том, чтобы члены Временного правительства были выпущены на свободу немедленно. А то с ними случится то, что случилось с Шингаревым и Кокосикиным. Это позор для революции». Штейнберг отнесся к словам Горького очень сочувственно и обещал сделать все, что может, возможно скорее. Помимо нас, с подобными настояниями обращались к власти, кажется, и другие лица, возглавлявшие политический Красный Крест. Через некоторое время министры были освобождены.

Обычная наша театральная публика, состоявшая из богатых, зажиточных и интеллигентных людей, постепенно исчезла. Залы наполнились новой публикой. Перемена эта произошла не сразу, но скоро солдаты, рабочие и проstonародье уже господствовали в составе театральных зал. Тому, чтобы простые люди имели возможность насладиться искусством наравне с богатыми, можно, конечно, только сочувствовать. Но напрасно думают и утверждают, что до седьмого пота будто бы добивался русский народ театральных радостей, которых его раньше лишали, и что революция открыла для народа двери театра, в которые он раньше безнадежно стучался. Правда — то, что народ в театр не шел и не бежал по собственной охоте, а был подталкиваем либо партийными, либо военными чечками. Шел он в театр «по наряду». То в театр нарядят такую-то фабрику, то погонят такие-то роты. Да и то сказать, скучно же очень, какому-нибудь фельдфебелю слушать Бетховена в то время, когда все сады частных домов объявлены общественными и когда в этих садах освобожденная прислуга под гармоникку славного Фиски Изумрудова откалывает кадильцы.

Как бы то ни было, театры и театральные люди были у новой власти в некотором фаворе. Потому ли это было, что комиссар народного просвещения состоял А. В. Луначарский, лично всегда интересовавшийся театром, то есть чистое случайно, потому ли, что власть хотела и надеялась использовать сцену для своей пропаганды; потому ли, что актерская среда, веселая и общительная, была приятна новым властителям как оазис беззаботного отдыха после суровых «трудов», потому ли, наконец, что нужно же было властям показывать, что и в эпоху «высокого и прекрасного» — ведь вот в Монте-Карло содержат хорошую оперу для того, чтобы, помимо возгласов крупье «Faites vos jeux!» (делайте ставки), благодарно раздвигались еще там и крики Валькирий — большевицкая бюрократия к театру тяготела и театру мировольно, но и мировольно не давала забывать актерам, что это «милость». Вспоминается мне в связи с этим очень характерный случай. Русские драматические актеры разыгрывали в театре Консерватории «Дон Карлоса». Я пошел посмотреть их, сел в партер. А поблизости от меня помещалась главная ложа, предназначавшаяся для богатых. Теперь это была начальственная ложа, и в ней с друзьями сидел коммунист Ш., заведовавший тогда Петербургом в качестве как бы полицмейстера. Увидев меня, Ш. пригласил меня в ложу выпить «ним чашку чаю. Кажется, там был Зиновьев, самовластный феодал недавно еще блистательный советский столиц.

За чашкой чаю Ш., увлекшись хорошо разыгрываемой пьесой, вдруг замечает мне:

— По-нашему вас, актеров, надо уничтожить.

— Почему же? — спросил я, несколько огорченный приятной перспективой.

— А потому, что вы способны размягчить сердце революционера, а оно должно быть твердо, как сталь.

— А для чего оно должно быть твердо, как сталь? — допрашивал я дальше.

— Чтоб рука его не дрогнула, если нужно уничтожить врага.

Я рискнул возразить петербургскому полицмейстеру Ш., как некогда — с гораздо меньшим риском! — возразил московскому обер-полицмейстеру Трепову, сдержанно и мягко:

— Товарищ Ш., вы не правы. Мне кажется, что у революционера должно быть мягкое детское сердце. Горючий ум и сильная воля, но сердце мягкое. Только

при таком сочетании революционер, встретив на улице старика или ребенка из вражеского стана, не воткнет им кинжала в живот...

Акт начался. Пронзив меня острым взглядом выпуклых глаз, Ш. произнес ошеломительную фразу, как будто не ввязываясь с темой нашей беседы.

— Довольно скудно пить чай, Шалыпин, не правда ли?

И затем прибавил тихо, чтобы его не слышали:

— Лучше бы нам посидеть за бутылкой хорошего вина. Интересно было бы мне с вами поговорить.

— Что же, выпьем как-нибудь, — сказала.

Голос Ш. звучал мягко. Мне показалось, что желание «потолковать» было, несомненно, связано с вопросом, какое должно быть у революционера сердце...

Я подумал, помнится, что не все ясно в сердцах этих людей, официально восхваляющих некогда доблесть стали...

Мы расстались с крепким рукопожатием. Но курьезно, что хотя мы с Ш. еще не раз встречались, и именно за бутылкой вина, разговоров о революции он явно избегал. В нашем вине, вопреки латинской поговорке «in vino veritas», была какая-то неискренность.

«Начальство» нравилось мне все меньше и меньше. Я заметил, что искренность и простота, которые мне когда-то так глубоко imponировали в социали-

распоряжение о немедленном их освобождении. Горький, радостно возбужденный, едет в Петербург с бумагой. И на вокзале из газет узнает об их расстреле! Какой-то московский чекист по телефону сообщил о милости Ленина в Петербург, и петербургские чекисты поспешили ночью расстрелять людей, которых наутро ждало освобождение... Горький буквально заболел от ужаса.

А Мария Валентиновна все настойчивее и настойчивее стала напешивать мне: бежать, бежать надо, а то и нас заберут, так же, может быть, по ошибке, как Стюартов.

Бежать... Но как? Это не так легко. Блокада. Не точно уяснял я себе, что такое блокада, но знал, что пробраться за границу во время блокады очень трудно. Мне представлялись границы, солдаты, пушки. Ни туда ни сюда.

Я очень серьезно захворал. От простуды я очень серьезно заболел ишиасом. Я не мог двигаться и слег в постель. Не прошло и недели этого вынужденного отдыха без заработков, как мое материальное положение стало весьма критическим. Пока пел, то покинул пайков и на стороне прорабатывал кое-какие дешёвые денег, пере-

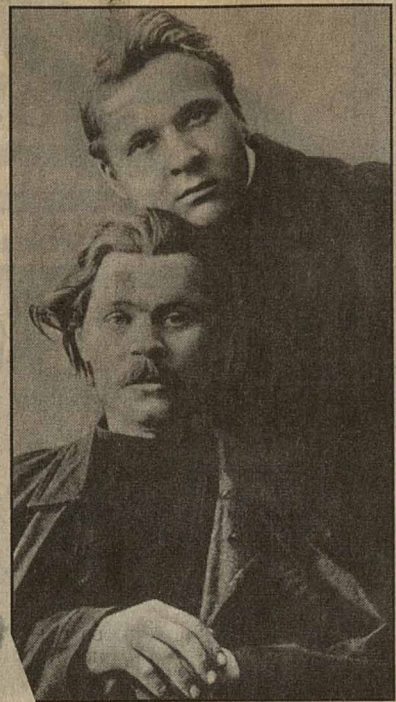
стал петь — остались одни только скудные пайки. В доме нет достаточного минимума муки, сахара, масла. Нет и денег, да и немного они стоили. Я отыскал у себя несколько завалившихся иностранных золотых монет. Это были подарки дочерям, привезенные мною из различных стран, где приходилось бывать во время гастролей поездок. Но Арсений Николаевич, мой старший друг и знакомый, особенно наклонив голову на правое плечо и взяв бородку штопором в руки, многозначительно помолчал, а потом сказал:

— Эх, Федор Иванович, на что нужны эти кругляшечки? Была игрушка, да сожрала чужка. Ничего мы не купим на это, а ежели у тебя спринжачок или сапоги есть — дай: достану. И мучки принесу, и сахар будет.

В эти дни и укоренилась во мне преступная мысль — уйти, уехать. Все равно куда, но уйти. Не ради самого себя, а ради детей.

Затаял я

Министры арестованы.



решение, а пока надо было жить, как живется.

Была суровая зима, и районному комитету понадобилось выгнать на Неве затонувшие барки для дров. Районный комитет не придумал ничего умнее, как мобилизовать для этой работы не только мужчин, но и женщин. Получается приказ Марии Валентиновны, ее камеристке и прачке отправляться на Неву таскать дрова.

Наши дамы приказ, естественно, испугались — ни одна из них к такому труду не была приспособлена. Я пошел в районный комитет не то протестовать, не то ходатайствовать. Встретил меня какой-то молодой человек с вислоухими

сдачи всего этого в 24 часа. Предупреждая, что иначе я буду арестован. Пошел я раньше в комитет. Там я нашел интереснейшего человека, который просто очаровал меня тем, что жил совершенно вне «темпов» бурного времени. Кругом кипели страсти, и обнаженные нервы металы искры, а этот комитетчик — которму все уже, по-видимому, опостыло до смерти — продолжал жить тихо-тихо, как какой-нибудь Ванька-дурачок в старинной сказке.

Сидел он у стола, подперши щеку ладонью руки, и, скучая, глядел в окно, во двор. Когда я ему сказал: «Здравствуйте, товарищ!» — он не шелохнулся, как будто даже и не посмотрел в мою сторону, но я все же понял, что он ждет объяснений, которые я ему и предъявляю.

— Надо сдать, — задумчиво, со скукой, не глядя протискивая сквозь зубы комиссар.

— Но... — декрет, — в том же тоне.

— Ведь...

— Надо исполнить.

— А куда же сдать?

— Миможно сюда.

И тут комиссар за все время нашей беседы сделал первое движение. Но все-таки не телом, не рукой, не головой — изпод неподвижных век он медленно покосился глазами в окно, как будто приглашая меня посмотреть. За окном, в снегу, валилось на дворе всякое «оружие» — пушки какие-то негодные, ружья и всякая дрянь.

— Так это же сгниет! — заметил я, думая о моей коллекции, которую годами грел в моем кабинете.

— Да, сгниет, — невозмутимо согласился комитетчик.

Я мысленно «плюнул», ушел и, разозлившись, решил отправиться к самому Петрову.

(Петров Я. Х. после Октябрьской революции — член коллегии и заместитель председателя ВЧК, председатель Революционного трибунала. — Прим. ред.)

Петер милостиво оружие мне оставил. «Впредь до нового распоряжения».

Стали меня очень серьезно огорчать и дела в театре. Хотя позвали меня назад в театр для спасения дела и в первое время с моими мнениями считались, но понемногу закулисные революционеры опять стали меня одолевать. У меня возник в театре конфликт с некоей дамой, коммунисткой, заведовавшей каким-то театральным департаментом (К. Л. Рудницкий считал, что эта дама — М. Ф. Андреева, с 1918 года занимавшая пост Комиссара театров и зрелищ в Петрограде). Пришел в Маринский театр не то циркуляр, не то живой чиновник и объявляет нам следующее: бывшие императорские театры объявлены богатствами реквизита, костюмов, декораций. Так вот, видите ли, костюмы и декорации стоили должны быть посланы на помощь немущим. Пусть обслуживают районы и провинцию.

Против этого я резко возстал. Единственные в мире по богатству и роскоши мастерские, гардеробные и декоративные императорских театров Петербурга имеют свою славную историю и высокую художественную ценность. И эти сокровища начнут растаскивать по провинциям и районам, и пойдут они по рукам людей, которым они решительно ни на что не нужны, ни они, ни их история.

Но бороться «буржуа» с коммунистами нелегко. Резон некоммуниста не имел права даже называться резонном...

Тогда я с управляющим театром, мне сочувствовавшим, решил съездить в Москву и поговорить об этом деле с самим Лениным. Свидание было получено не очень легко, но местный мой старый знакомый объявил с флюсом и с подвизанной шекой... А то тогда в России ходил без флюса? Им объявлялись буквально все люди, у которых у самих еще недавно были очень крепкие зубы.

Случилось мне увидеть и самого знаменитого из руководителей Чека, Феликса Дзержинского. На этот раз не я искал встречи с ним, а он пожелал видеть меня. Я думаю, он просто желал подвергнуть меня допросу, но из внимания, что ли, ко мне избрал форму интимной беседы. Я упоминал уже о коммунисте Ш., который как-то жаловался, что актеры «размывают сердце революционера» и признавался, что ему «скудно, Шалыпин, беседовать за чаем». Это Ш. позже сделался начальником какого-то отряда нехватку в 15 000 рублей. Коммунист Ш. был мне симпатичен — он был «славный малый», не был, во всяком случае, вульгарным вором, и я не думаю, что он произвел окончательную расправу. Вероятно, какая-нибудь красивая актриса «размывала ему сердце», и так как ему было «скудно за чаем», то он заимствовал из казны деньги на несколько дней с намерением их потратить. Действительно, казны была им полновата: взят, только быть, у кого-нибудь «взаимно». Но самый факт нехватки казенных денег произвел впечатление, и делом занялся сам Дзержинский. Так как было замечено мое расположение к Ш., то Дзержинский пожелал меня послушать. И вот получаю однажды приглашение на чашку чаю к очень значительному лицу и там нахожу Дзержинского.

Дзержинский произвел на меня впечатление человека сановитого, столичного, серьезного и убежденного. Говорил с мягким польским акцентом. Когда я пригласил к нему, я подумал, что это революционер настоящий, фанатик, революции импонирующий. В деле борьбы с контрреволюцией для него, очевидно, не существует ни отца, ни матери, ни сына, ни святого Духа. Но в те времена у меня не получалось от него впечатления простой жестокости. Он, по-видимому, не принадлежал к тем отвратительным партийным индивидуумам, которые раз навсегда заморозили свои губы в линию нежности и при каждом движении нижней челюсти скрежещут зубами...

Дзержинский держался чрезвычайно тонко. В первое время даже не приходила в голову мысль, что меня допрашивают.

— Знаю ли Ш.? Какое впечатление он на меня произввел? — И т. д. и т. д. Наконец я догадался, что неспроста Дзержинский ведет беседу о Ш., и сказал о нем гораздо больше хорошего, чем можно было сказать по совести. Ш. отделился легкой карой. Карьера его не прервалась, но, должно быть, пошла по другой линии. Однажды через много лет я в отеле «Бристоль» случайно увидел моего Ш. — крикнул я ему.

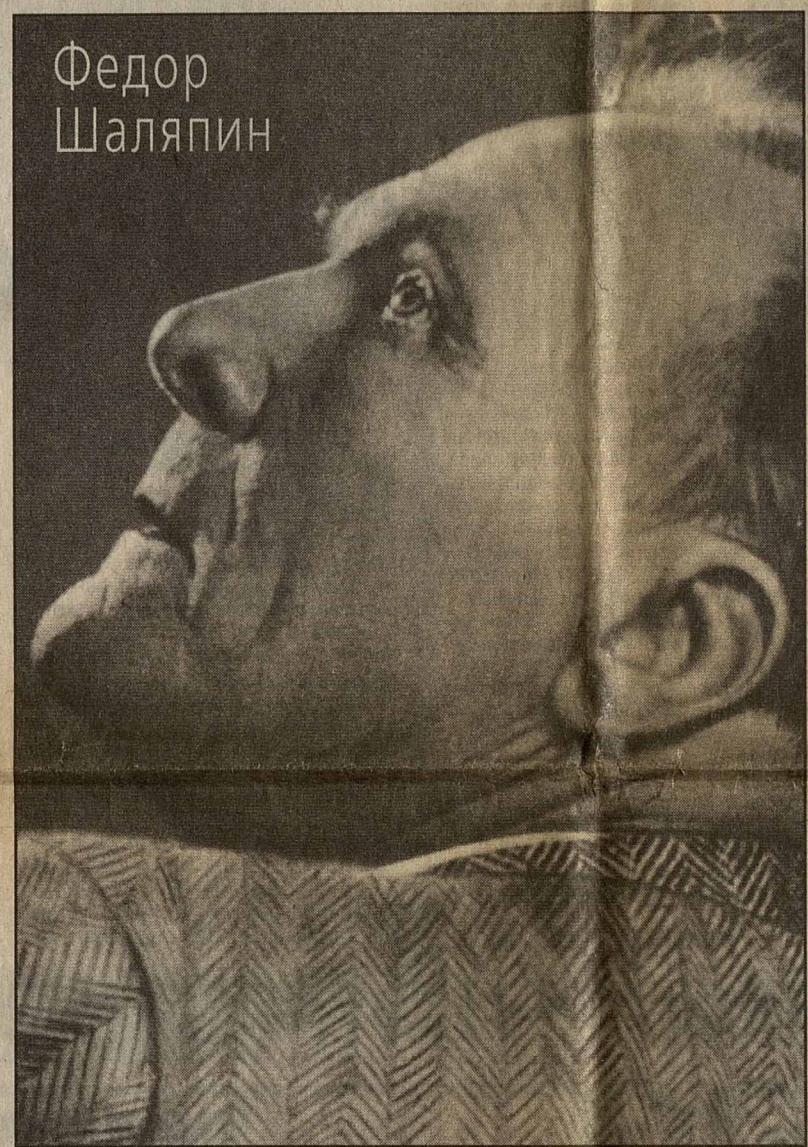
— Ба, никак Ш. — крикнул я ему.

— Ради Бога, здеся никакого Ш. не существует, — и отошел.

Что это значило, я не знаю до сих пор.

Книга Федора Шалыпина «Маска и душа» выходит в издательстве «Варгус» в серии «Мой XX век»

Временное правительство свергнуто.



Торжественно въезжает в покоренную столицу Владимир Ильич Ленин.

ШАЛЯПИН ГОЛОДАЮЩИМ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

Пятница, 21^{го} Апреля, 1904.

ПЕРВЫЙ КОНЦЕРТ ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ИЗ ЗАГРАНИЦЫ

ШАЛЯПИН ГОЛОДАЮЩИМ

Р. И. КИТТЕН А. В. БОГДАНОВИЧА

Н. С. БЛИНДЕРА Ф. Ф. КЕНЕМАНА

ШАЛЯПИН Н. С. ГОЛОВАНОВА

ГОЛОДАЮЩИМ